

ЖАЛОСТЬ к человеку. Боль за человека. Жалость выше справедливости, но справедливость долговечней. Вспоминая момент проявления жалости к человеку уже с некоторого временного расстояния, мы можем осознать, что, пожалуй, переборщили. Этот человек был недостоин этой степени жалости.

Но вспоминая справедливое решение по отношению к человеку, мы не можем себе сказать, что переборщили по части справедливости.

Жалость, я уверен, необъяснима никакими рациональными соображениями, она идет к человеку сверху, от Бога.

Однако почти всякий человек иногда мучительно вспоминает случаи из своей жизни, где должен был проявить жалость, но не проявил. В чем дело, где был в тот миг наш Бог? Думаю, сигналы сверху были, но мы сами в то время были настолько расчеловечены, что не могли их принять. Однако человек нравственно не тупой сохраняет этическую память и, восстанавливая картину своего равнодушия, мучается, кается и тем самым прочищает приемник своей души.

Но в каком соотношении между собой чувство жалости и чувство справедливости? Чувство справедливости, можно сказать, более горизонтальное, оно больше требует нашего

ханка роздана. Может подойти еще один или несколько детей, заметивших, что он раздает хлеб. И он вынужден, как это ни больно, развести руками и сказать:

— Больше нету. Попробуйте попросить у других.

Но возможен и другой вариант. Здесь пассажир с буханкой хлеба достаточно нравственный человек, но с несчастной склонностью к теоретизированию. К нему подходит голодный ребенок, он отдает ему кусок хлеба. Потом второй, потом третий. И вдруг он догадывается, что хлеба на всех голодных детей у него все равно не хватит.

Надо решить вопрос в корне. Надо дать окончательное решение вопроса о голодных детях. Потрясенный грандиозностью и благородством своей задачи, он прячет остатки хлеба в портфель, вынимает ручку и блокнот и начинает лихорадочно вычислять, как спасти всех голодных детей от голода. Он как бы продолжает задачу помощи детям, но направление его внутреннего пафоса изменилось.

Теперь он не замечает или даже отгоняет подходящих к нему детей. И не испытывает ни жалости, ни стыда, потому что уверен, что старается для их же пользы. Теперь **живые** дети мешают ему помогать **теоретическим** детям, мешают оконча-

Соблазн стряхнуть с себя трагедию существования всегда был свойствен людям. Но мы должны помнить, что каждый раз, когда мы избегаем положенного нам ушиба совести, он дополнительной болью ударяет кого-то другого.

Всякая революция, а наша в особенности, благодаря ее явно всемирно-историческому замыслу, была великим соблазном снятия трагедии существования.

Новая эра! Научкой было доказано, что это будет, и это пришло! Люди, поддавшиеся соблазну революции, сбрасывая с себя трагедию существования, одновременно сбрасывают чувство долга перед окружающими. Множественный и сложный характер чувства долга перед конкретными людьми заменяется единым лучезарным долгом перед идеей.

Это создает определенную легкость существования, бодрит. И чем безупречнее выполнение единого революционного долга, тем свободнее чувствует себя революционер от какого-либо долга перед конкретными окружающими людьми, ведь он дальше других пошел ради будущей справедливой жизни. Так он компенсирует свое революционное усердие и порождает новые (временные!) утешения на пути к окончательной справедливости.

Но куда девается жалость? Ведь

О ГРОМНА приспособляемость человека к жизни, в том числе и подлая. Из живого опыта жизни человек знает, что иногда к человеку надо проявить безжалостность для его же пользы. Так безжалостен учитель, оставляющий нерадивого ученика в школе после занятий, так безжалостен родитель, наказывающий расшалившегося ребенка, так безжалостен хирург, распарывающий живого человека.

Хитрый механизм приспособляемости легко затмевает разум. Революционер, благословляющий пролитие крови, охотно угодливый себя хирургу, чаще всего забывая, что хирург проливает кровь человека для того, чтобы спасти именно этого человека. А революционер проливает кровь этого человека, чтобы сохранить верность идее, правильность которой ничем не доказана.

Но такова сила соблазна сбросить бремя трагедии существования, окончательно решить, вырваться в царство свободы. Произошло то, о чем я уже говорил. — подмена жалости к человеку жалостью к сказке, понятой как новая истина.

Можно сказать, что революционеры заразили грехом теоретизирования достаточно большую часть народа, которая пошла за ними. Может, наша азиатская мечтательность, не слишком

взгляд на небо — это тоже две формы приспособления к жизни. Но, оказывается, огромная разница между двумя этими взглядами. Если в балансе общей жизни взгляд в тарелку побеждает взгляд в потолок, то тарелка однажды оказывается пустой, сколько в нее ни гляди. И тут уж идиотический взгляд, обращенный в потолок, ничего не даст.

Так, церковь, превращенная в амбар, в конце концов перестает служить и амбаром, потому что в один прекрасный день выясняется, что в этот амбар нечего засыпать.

Существование высших потребностей, оказывается, обеспечивает и низшие потребности. Чем прямее стоит человек, тем ему легче нагнуться, чтобы сорвать ягоду или завязать шнурок. Гнутым трудно нагибаться. Частый взгляд на небо способствует выпрямлению спинного хребта.

Кстати, есть что-то грустно-комическое, когда видишь по телевизору, как бывший коммунист стоит в церкви перед священником со свечой в руке. О, если б священник движением руки втиснул его в толпу прихожан, рано высовывался. Но нет этого движения руки. Он благословляет его с некоторой смешной осторожностью, как бы несколько удивленный, как бы несколько неуверенный в его внезапном смиреннии. Зрелище малоаппетитное.

И потому поговорим о безглизности. Откуда она взялась? Представим себе миссионера на стоянке дикаря. Тот уже овладел огнем и настолько цивилизован, что ест жареное мясо. Он жадно отправляет в рот дымящиеся куски. То ли от дыма, то ли от простуды вдруг у него потекло из носа. Дикарь почувствовал под носом неприятное шекотание и, чтобы унять это шекотание, не прерывая приятное занятие, мазнул под носом очередным куском мяса и отправил его в рот.

И тут наш миссионер пытается ему объяснить, что он нехорошо поступил. Он срывает лопухообразный лист с близрастущего куста, приближает его к собственному носу (платок слишком сложно) и показывает, как надо было поступить. Дикарь внимательно выслушивает его и вдруг с сокрушительной разумностью говорит:

— Но ведь это не меняет вкус поджаренного мяса!

И в самом деле, миссионер вынужден признать, что для дикаря это не меняет вкус поджаренного мяса. Безглизность — плод цивилизации и культуры. Это легко подтверждается на примере ребенка. Маленький ребенок в состоянии полуразумности, как маленький дикарь, тянет в рот все, что попадет ему под руку. Позже, наученный окружающими людьми, он усваивает уровень безглизности своего времени.

Но и внутри уровня современной безглизности человеку свойственны колебания вверх и вниз. Вымыслившись испытываем некоторую безглизность к белью, которое только, что скинули, и надеваем свежее. В чистой одежде мы оглядываем к окружающей грязи. Но если на нас грязная, скажем, рабочая одежда, мы равнодушнее к окружающей грязи или, оказавшись в чистом помещении, как бы испытываем безглизность окружающих предметов и стараемся поменьше соприкасаться с ними.

Как наглядно, что физическая безглизность человека развивается вместе с цивилизацией, и какая драма человечества, что нравственная безглизность несколько не развивается вместе с ней! Здесь чистое тянется к чистому, но и грязное тянется к чистому, чтобы запачкать его, чтобы почесаться о него, как свинья о дерево.

Нравственная безглизность связана с природным нравственным слухом. Слух этот, если он есть, поддерживается культурой, но несколько не поддерживается и не развивается движением цивилизации. Это движение со всей очевидностью утончает только нашу физическую безглизность, хотя и тут есть свои противоречия.

Одноразовые шприцы — это хорошо. Но одноразовая посуда, из коей меня кормили в добрых американских домах, меня смущает. Я бы не хотел свой кофе пить из одноразовой чашки. Моя чашка — это маленькая часть моей домашней вечности. Я бессознательно благодарен ей, что она мне служит. Она укрепляет меня в мысли о долговечности существования. Но одноразовая чашка, которая после употребления летит в помойное ведро, — на что мне намекает? Ясно на что. Я и так знаю, что жизнь одноразовая. Зачем мне целый день слушать похоронный марш одноразовых предметов?

Цивилизация помогла медицине сделать громадные успехи, и медицина спасла, может быть, миллионы людей, которые при более низком уровне цивилизации погибли бы. Но и она же создала такие орудия уничтожения человека, которые уже унесли еще большее количество людей.

Может быть, какой-нибудь знаток предмета скажет, что этот отрицательный баланс в самой природе человечества, что людей стало слишком много и частичное самоуничтожение нужно для его выживания. Но, во-первых, этого никто не доказал. А во-вторых, если это так, что стоит разум человека, если им командуют биологические законы?

Конечно, это не так, ибо мы прекрасно знаем, что людей весьма успешно уничтожали и во времена Александра Македонского, хотя ни о каком перенаселении планеты тогда и речи не могло идти.

К СТАТИ, об Александре Македонском. Блестящий стилист и романтичный человек Константин Леонтьев сказал известную, как бы ключевую фразу ко всему своему творчеству. Смысл ее вкратце сводится к тому, что, мол, для того ли генеральный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме затевал свои походы, чтобы русский или европейский буржуа благодушествовал в своей безобразной и комической одежде.

В самом деле, для того ли? Попробуем сравнить, раз уж одежде придается такое значение, костюм современного чиновника с хитомом древнегреческого чиновника.

Если верно мое предположение, что развитие цивилизации сопровождается усилением физической безглизности и улучшением качества мыла, то картина будет не в пользу древнегреческого хитона. При проверке на вшивость хитон должен оказаться плодородней. А если учесть, что древнегреческий чиновник мог получить взятку в виде мохнатого бурдюка с козным молоком, то и «блосность» не вполне исключается.

О самих походах Александра Македонского лучше всего могли бы рассказать крестьяне тех народов, через земли которых он проходил от Греции до Индии. Само собой разумеется, что этих крестьян грабили и вслед шлемоблещущим воинам неслись вопли и проклятия. И никому из них не могло прийти в голову, что эта прожорливая лавина выглядит красиво.

Константин Леонтьев любил историю, как бифтекс с кровью. И это типично. Безжизненность эстетика роковым образом уравновешивается жестокостью как высшим проявлением жизненности. Таковым был и Ницше. Также блестящий стилист.

Вообще этические поправки к чувству красоты бывают удивительны. Однажды, войдя к себе на кухню, я увидел по телевизору фанельное шествие. Первое впечатление — красиво, величественно. И вдруг из слов диктора узнаю, что это передача о немецком фашизме. То, что за мгновение до этого казалось красивым, стало зловещим и страшным, несмотря на фанельные вышито-отот эмблемы.

То же самое наши знаменитые военные парады на Красной площади. На первый взгляд — красота, выражающая мощь и прочность твоей отчизны. Но когда осознаешь, что эта мощь превратила в замученных рабов миллионы твоих соотечественников, начинаешь замечать автоматическую, бесчеловечную тупость этой стройной громады. А если обо всем этом не думать — красиво.

Романтизация прошлого, при всей своей неверности, слишком большого вреда принести не может. Романтизация прошлого — ложное вычисление прошлого с ложным выводом: жизнь была интересней и гармоничней. Романтизация будущего — ложное вычисление будущего с ложным выводом: жизнь будет интересней и гармоничней. Ложное вычисление прошлого — это то, за что уже отвечать не приходится. То, что было, — было. Но за ложное вычисление будущего будем отвечать своей шкуркой мы или наши дети. И уже отвечаем.

Компас, который врет по отношению к предстоящему пути, гораздо опаснее компаса, который врет по отношению к пройденной дороге.

Странно, что при решении многих грандиозных, тончайших и сложных интеллектуальных задач человечество до сих пор с научной точностью не может ответить: изменился ли человек в истории, как нравствен-

Попытка понять человека

Фазиль ИСКАНДЕР

Чем меньше личность, тем больше она стремится и в толпу, и править толпой.

Чем развитее личность, тем ей оскорбительней и быть в толпе, и править толпой, ибо это всегда сплюсчивает и уродует мысль.

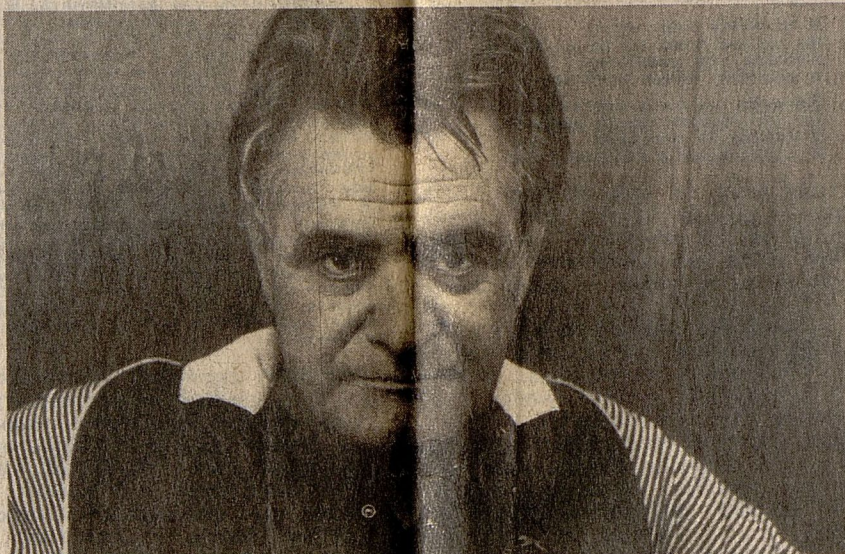


Фото Евгения ФЕДОРОВСКОГО

личного соображения. Пытаясь найти справедливое решение по отношению к человеку, мы как бы мысленно перебегаем от этого человека ко многим другим и от многих — как вывод — к этому одному.

Первоначальным толчком к чувству справедливости может быть жалость к человеку, но в развитом виде чувство справедливости — это жалость к истине, любовь к ней. Но человек в сложных случаях жизни, отталкиваясь от жалости, может так запутаться в поисках формулы добра, что приходит к самым безжалостным и несправедливым выводам.

Таким был наш социализм на практике. Можно со всей безусловностью утверждать, что первоначальным толчком всех социалистических теорий была жалость к обездоленному человеку. Как же могло получиться, что учение, в основе которого лежала жалость к человеку, породило самое безжалостное общество? И не совсем случайные слова Горького стали его лозунгом: жалость унижает человека. Ведь, кроме прирожденных палачей, были же среди революционеров искренние, желающие добра люди? Неужели они не видели противоречия между объявленным идеалом этого государства любви к народу и самым безжалостным отношением к нему в жизни? Безусловно, видели, но оправдывали по нескольким достаточно серьезным причинам.

Представим себе пассажира, в ожидании поезда сидящего на вокзале с буханкой хлеба. Это нормальный, добрый человек без склонности к теоретизированию. К нему подходит голодный ребенок. (Кажется, мы приближаемся к такой реальности.)

— Дяденька, дай кусок хлеба.

Он отрезает ломоть и отдает ребенку. Потом подходит другой ребенок с такой же просьбой. Он и ему отрезает ломоть. Потом третий, четвертый, пятый. В конце концов бу-

ханка роздана. Может подойти еще один или несколько детей, заметивших, что он раздает хлеб. И он вынужден, как это ни больно, развести руками и сказать:

— Больше нету. Попробуйте попросить у других.

Но возможен и другой вариант. Здесь пассажир с буханкой хлеба достаточно нравственный человек, но с несчастной склонностью к теоретизированию. К нему подходит голодный ребенок, он отдает ему кусок хлеба. Потом второй, потом третий. И вдруг он догадывается, что хлеба на всех голодных детей у него все равно не хватит.

Надо решить вопрос в корне. Надо дать окончательное решение вопроса о голодных детях. Потрясенный грандиозностью и благородством своей задачи, он прячет остатки хлеба в портфель, вынимает ручку и блокнот и начинает лихорадочно вычислять, как спасти всех голодных детей от голода. Он как бы продолжает задачу помощи детям, но направление его внутреннего пафоса изменилось.

Теперь он не замечает или даже отгоняет подходящих к нему детей. И не испытывает ни жалости, ни стыда, потому что уверен, что старается для их же пользы. Теперь **живые** дети мешают ему помогать **теоретическим** детям, мешают оконча-

тельному и справедливому решению вопроса о детском голоде.

Кто правильней действовал из этих двух пассажиров на вокзале? Помоему, ясно, что первый пассажир. Как говорится, теория мертва, но вечно зелено древо жизни.

Но тонкость вопроса состоит в том, что первый пассажир при всей своей простоте и теоретически выше второго пассажира, даже если второй пассажир грандиозен, как Маркс.

Его теоретическое, скорее всего неосознанное превосходство над вторым пассажиром состоит в том, что он понимает, трагедия существования непреодолима, ее можно только смягчить. Его частичным утешением является то, что он выполнил свой долг — раздал свой хлеб голодным детям. И он заранее принимает, что, может быть, придется взглянуть в глаза голодному ребенку и сказать:

— У меня нет хлеба. Попробуй попросить у других.

При всем признании благородного порыва второго пассажира, его попытки окончательно решить вопрос о детском голоде вкрадывается подозрение, что им одновременно двинула, скорее всего бессознательно, попытка снять с самого себя трагедию существования и уже сегодня достаточно спокойно смотреть в глаза голодного ребенка, будучи уверенным, что завтра (или через сто лет — это безразлично) благодаря его усилиям не будет голодных детей. Но формулы добра нет и никогда не будет. Если бы можно было теоретически представить, что наука найдет такую формулу, это означало бы, что совесть отменяется. Но ясно, что только совесть движается вместе с человеком во всех неисследимых изгибах жизни. И что скрывает — совесть утомительна. Но отбросив совесть, человек превращается в неутомимое животное. Или — или. Но человек ищет чего-то третьего. Например, отбросить совесть в будущее, а потом приплыть к ней.

мы говорим не о прирожденных человеконенавистниках и лицемерях, но об искренних людях.

Помню, в начале войны я мальчишкой довольно долго жил у дедушки в Чегеме. Однажды приехала к нам из города моя сестра, и мы вместе с нею и несколькими односельчанами направились в другую деревню. Я шел, погоняя ослика с покляжей и время от времени пошлепывая его палкой по спине.

— Чего ты его бьешь? Ему же больно, — сказала сестра.

Я удивился ее словам. Я как-то совсем забыл, что ему может быть больно. Я делал то же самое, что делали местные крестьяне, погоняя ослика. Мне бы никогда не пришло в голову ударить его палкой, когда он пасется на лугу.

Но ослик с покляжей в пути норит остановиться, слизнуть зеленую ветку над тропой, замедлить шаг. Вот я его и погонял, как и все крестьяне.

Но, на взгляд моей сестры, городской девочки, это было неприятное зрелище, хотя, конечно, я его не сильно ударял. Кстати, еще более непонятным зрелищем, на взгляд городского человека, было бы, если б он увидел, как тот же крестьянин, поднимаясь с нагруженным осликом по очень крутому склону, вдруг разгружает его и берет груз или часть груза на себя. Жалет. Знает, где надо жалеть.

У ослика нет чувства долга перед хозяином, вот и приходится погонять его палкой. Человек легко привыкает к палке (тот, кто ее держит), а палкой всегда движет идея.

На примере крестьянина и ослика мы видим, что жалость бывает связана с пониманием сути дела. Иногда, чтобы жалеть, надо знать суть дела. Порой нас поражают правители, которые не знают сути дела, хотя у них тысячи приводных ремней, чтобы знать. Но они не пользуются ими, чтобы иметь право не жалеть.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 3-Й СТР.

ное существо? К лучшему? К худшему? Или он остался таким же, каким и был?

Попробуем опереться на косвенные свидетельства литературы. Древние греки имели гениальных писателей и мыслителей, но мы как-то догадываемся, что и теоретически у них не могло быть ни Шекспира, ни Толстого, ни Достоевского. Дело, конечно, не в технике письма. Всякий талант прекрасен, и прекрасен навсегда. И всякий талант сам вырабатывает ту технику письма, которая необходима для изображения того, что он мысленно видит.

Может, страсти человеческие изменились? Нет, легко догадаться, что и тогда все человеческие страсти были уже достаточно развиты и отчаявшаяся женщина если не под поезд бросалась, то со скалы.

Вероятно, навсегда утратив по сравнению с древними греками какие-то художественные достоинства, писатели нового времени намного превзошли их в глубине психологического анализа. И это не плод случайности рождения такого-то гения, а что-то другое, и меньше таланты нового времени, ни в какое сравнение не идущие с великими греками, были способны на более глубокий анализ. Здесь в самом деле что-то другое.

Это другое я бы назвал энергией исторического отчаяния. Древняя гречанка, бросающаяся со скалы по той же причине, что и Анна Каренина, испытывала примерно те же чувства, что и Анна Каренина. Но древнегреческий писатель, узнав об этом случае, при равенстве таланта со Львом Толстым не мог испытывать то, что испытал Толстой. У него не было и не могло быть той энергии исторического отчаяния, которая была у Толстого. Эту энергию отчаяния можно выразить простыми словами: этого уже не должно было случиться, но случилось!

Древним грекам, говорят, не было свойственно чувство истории, то есть чувство, что мир развивается в какую-то сторону. Я полагаю, что если древний грек вдруг увидел бы, что на греческом корабле увеличилось количество парусов, он с любопытством и радостью отметил бы изобретательность греков, но не воспринял бы это как часть изменения его мира, как доказательство движения к чему-то.

Очарование древнегреческого искусства не только в простодушии, но и в какой-то гармонической неподвижности: времени нет, истории нет. Если бы древнему греку сказали, что в такой-то стране отменили рабство, он скорее всего рассмеялся бы в ответ:

— Да они и сами рабы, почему бы им не отменить рабства.

Бердяев пишет, что чувство истории, по крайней мере в европейский мир, привнесено христианством. И это похоже на правду. Для христианина встреча с Богом впереди. Тогда жизнь человека и многих поколений выстраивается в некую цель, и летописец, верящий в эту цель, описывая события жизни, пристальной вглядывается в качество изменения жизни, подчеркивая пафос движения.

Когда появилось достаточно много примеров изменения жизни, внесенных силой человеческого ума и изобретательности, появилась как бы гораздо более обнадеживающая, гораздо более наглядная, более короткая параллель христианской линии к цели — философия прогресса: история и

без Бога должна привести к мировой гармонии.

И христианская вера, и вера в прогресс — ожидание. Долгое историческое ожидание не могло не порождать у ждущих приступов исторического отчаяния. Окунувшись в нашу вокзальную жизнь, древний грек мог бы все понять, кроме одного: почему людей волнует опаздывающий поезд? Он не знал, что жизнь, кроме жизни, имеет еще какую-то цель. И этим он был прекрасен.

Приступы исторического отчаяния веры в прогресс — философия революции и революционной практики.

Приступы исторического отчаяния у великих христианских художников: как можно глубже заглянуть в душу человека, разгадать его до конца, понять, готов ли он, способен ли он к высшей цели. Конечно, субъективно большой художник может считать себя неверующим человеком, но, живя внутри христианской культуры, он заражается ее пристальным любопытством к душе человека. В этом деле недостаток веры может подхлестывать силой таланта.

И не та ли энергия исторического отчаяния двигала кистью Рембрандта, когда он писал «Блудного сына»? Литерическая сила стократ превзошла библейский сюжет. Этого уже не должно было быть, но блудный сын все блудит и блудит!

Как сказал поэт Коржавин:
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

ТАК СТАЛ человек лучше или хуже со времен древних греков? Я бы сказал так. Человек стал не лучше и не хуже по сравнению с древним греком, но он стал несколько противней. Противней — по сравнению с кем? По сравнению с тем, что мы ожидали. А зачем вы ожидали? — удивился бы древний грек.

В нравственном отношении человек — вечный второгоним, со все увеличивающейся сноровкой употребления шпаргалок. Одностороннее, техническое развитие ума, комбинационного мышления усилило в человеке технологию самооправдания в безнравственной ситуации.

Однако отрицательный опыт человечества столь велик, что можно и по-другому поставить вопрос. Лучшие из наших современников по сравнению с древними греками стали еще лучше, учитывая преодоленный отрицательный опыт, а худшие стали еще хуже, учитывая непреодоленный отрицательный опыт человечества. Но худших больше. Человечество растянулось, как плохое войско, и чем дальше оно идет, тем больше вытягивается. Гул задних заглушает речь передних, но этическая мощь академика Сахарова ничуть не уступала этической силе Сократа.

Человек в толпе. Человек может покраснеть от стыда будучи один. Свидетель — совесть. Совесть затрудняет жизнь, чтобы облегчить встречу с Богом. Будем надеяться. Бесконечная репетиция этой встречи. Самоуверенность человека: если

там что-то есть, сыграю и без репетиции.

Человек может покраснеть от стыда перед другим человеком. Человек может покраснеть от стыда и в толпе, но будучи в низости обвинен лично. Человек краснеет один.

Можно представить такой случай. Десять человек, стоворившись, оклеветали одного человека. Допустим, что этот человек узнал об источнике клеветы. Встречаясь с каждым из них отдельно и разоблачив каждого из них как клеветника, можно предполагать, что он увидит немало лиц, покрасневших от стыда. Но если бы десять клеветников оказались вместе и оклеветанный их разоблачил одновременно, эффект разоблачения оказался бы весьма низким. Скорее всего, оклеветанный подвергся бы новой клевете, ибо старую клевету они постарались бы выдать за злобную выдумку оклеветанного.

И дело не в том, что они не почувствовали бы никакого стыда. Некоторый стыд они, скорее всего, почувствовали бы, но, увы, доза его оказалась слишком маленькой. Тайнство стыда предполагает воздействие на душу отдельного человека. В данном случае мы пытались воздействовать стыдом на десять человек, а доза стыда всегда рассчитана на одного человека. Другой дозы нет.

Разоблачая десять клеветников одновременно, мы сразу превратили их в единое удесятеренное тело с удесятеренной возможностью самооправдания при удесятеренной пониженности восприятия стыда. Один из десяти всегда найдет некую слабость в аргументации разоблачителя, а девять остальных ее тут же подхватят, даже если за миг до этого никому из них не приходила в голову эта мнимая слабость аргумента.

Ориентированность на истину по своей природе есть готовность к восприятию внутреннего стыда в случае ошибочного хода мысли, а это требует одиночества, стремится к одиночеству. Беременный мыслью сторонится людей, а поспешающему к людям нечего сказать.

Вот почему всякий союз совестливых, думающих людей всегда относительно слаб, а всякий союз негодяев сплочен и крепок. Не надо знать программы того или иного союза людей, достаточно знать, насколько он крепок, чтобы знать, насколько он подл.

Толпа, уличенная в самом низком предательстве, никогда не покраснеет от стыда. В толпе человек может проявить храбрость, на которую он как личность был неспособен. Ведь здесь он превращается в коллективное тело, что усиливает ощущение личной неуязвимости. Но в той же толпе человек может испытать дикий страх, панику, до которой он как личность никогда не опускался. И тут влияние коллективного тела.

Чем меньше личность, тем больше она стремится и в толпу, и править толпой. Чем развитее личность, тем ей оскорбительней и быть в толпе, и править толпой, ибо это всегда сплю-

счивает и уродует мысль. В этом драма коллективных и национальных движений. Драма политики вообще. И только найденное одиночками долговечно служит людям.

Одиноким мыслителям сигналы солидарности посылает через головы правителей и толпы. Он будит волю к добру, обращаясь к частному человеку. И это самый честный способ связи людей, ибо принять или не принять его сигналы решает человек лично и добровольно.

В толпе человек ощущает, если прислушивается к себе, как из него высасывается личность. Крайне неприятное ощущение. А если иной человек как раз в толпе чувствует себя полнокровней, можно предполагать, что именно в него всосалось то, чего ему не хватало.

Можно было бы сказать, что на христианстве лежит вина исторического отчаяния человека, если бы мы точно не знали, что и без христианства рано или поздно должна была появиться философия прогресса.

Философия прогресса, вера в саморазвивающееся движение к цели, ослабляет в человеке волю к добру: течение само вынесет. Но течение никуда не вынесет, потому что зло, видоизменяясь или даже не слишком видоизменяясь, плывет вместе с человеком. Воля к добру, даже если и создает иллюзию обгона зла, реально укрепляет нравственные мускулы. И это немало. Религия и культура есть воля к добру, выраженная в молитве и в образе.

Прогресс как историческая цель себя исчерпал. Техническое оснащение жизни будет продолжаться, но ни один серьезный человек уже не может поверить, что это когда-нибудь приведет к нравственному скачку. Отношение к щеке ближнего не меняется от того, что она выбрита электробритвой.

А НУЖНА ли человеку вообще историческая цель? Не лучше ли жить, как древние греки, жить ради самой жизни? Вероятно, было бы лучше, но для нас, для нашей страны это сейчас невозможно.

Переход от достаточно долгого тоталитарного государства к демократическому имеет свои невероятные психологические сложности. При тоталитарном строе ты как бы вынужден жить в одной комнате с буйным сумасшедшим. И ты выработал свои навыки выживания рядом с ним. Так, он требует, чтобы ты с ним каждое утро играл в шахматы. Чтобы выжить, играя с ним, ты обязан и достаточно хорошо играть, и достаточно точно проиграть, но при этом так проиграть, чтобы он не заметил, что ты нарочно ему проиграл. При всем при этом, как сладостно думать про себя: какой шахматист погибает!

Привычка концентрировать свои силы на выживание рядом с буйным сумасшедшим отодвигала от человека драму существования вообще. Оказывается, живя в комнате с буйным сумасшедшим и принаравливаясь к

нему, мы предоставляли себе своеобразную роскошь или совсем не выполнять, или только делать вид, что выполняем многие другие свои человеческие обязанности.

Но вот буйный исчез, и жизнь предстала перед нами во всей неприглядности наших невыполненных, наших полубытовых обязанностей. Да и относительно шахмат, оказывается, имели место немалые преувеличения.

Но самое драгоценное в нас, на что ушло столько душевных сил, этот наш поистине грандиозный, поистине виртуозный опыт хитрости выживания рядом с безумцем оказался никому не нужным хламом. Обидно. И нет Византии, куда можно было бы выехать с этим патентом.

Приспособившись к диалогу с буйным безумцем, мы не заметили, что разучились общаться, как нормальные люди. Общась, мы никак не поймем, кто наш собеседник — безумец, прикидывающийся нормальным, или хитрец, принимающий нас за буйного безумца.

Доверчивость — великое достоинство человека в этом недостойном мире. Мир свою подлость успешно сваливает на глупость доверчивого человека. А доверчивый человек, не переставая быть доверчивым, склонен поверить в это. Как и всякий одаренный человек, он менее всего замечает свой дар и думает, что речь идет не о нем, а о совсем другом человеке.

Тоска и ярость, всеобщая подозрительность охватили многих людей. Юг пылает, и нет сил остановить этот пожар. Неужели только усталость от потери крови может отрезать стреляющих друг в друга людей? Или они в том кровавом тумане ищут новых безумных вождей, чтобы снова пустить в ход свой хитрый опыт приспособления к безумцам?

Великий блеф коммунизма заменяется провинциальным блефом национализма. Национализм — конкуренция неконкурентоспособных. Но такими их сделали правители, долгие годы подкачками и лестью скрывая от народа свою собственную неконкурентоспособность. И в основном они же теперь создают этот новый блеф в виде оружия возмездия за потерю власти и как самый верный способ возвращения ее.

Наш путь — от единого мозгового склероза коммунизма к рассеянному склерозу национализма. Националисты всех мастей подхватили иссякающую ненависть коммунизма. Старые знамена перенасыщены кровью, новые, сухие знамена жаждут ее.

Земля, усыхающая без любви, орошается кровью. Такую сегодня наша безблагодатная земля. И словно в согласии с климатическими условиями, она особенно быстро усыхает без любви, на юге, где и орошается уже потоками крови.

Любовь — главное в учении Христа. У человека тысячи соблазнов, но верная опора только одна — любовь. Не поразительно ли, что даже самый закоренелый уголовник, со-

вершивший десятки преступлений, все-таки нуждается в этой любви, помнит ее свет и делает наколку на своем теле «Не забуду мать родную». И хоть сам он стал для своей матери источником самой большой боли, но все-таки помнит, помнит свет ее любви и носит эту наколку, сам того не понимая, как последний знак, что душа его не до конца омертвела.

Когда мы любим ребенка, женщину, старика, друга, когда мы любим вообще, мы ощущаем сладостную телесную легкость. Такое же облегчение тела мы ощущаем, когда в жаркий летний день погружаемся в теплое море. Такое же сладостное телесное облегчение мы чувствуем, когда к нам приходит вдохновение. Потому что вдохновение — это влюбленность в приоткрывшуюся истину.

Я думаю, это сладостное телесное облегчение в момент любви вызывается тем, что человек в этот миг сбрасывает с себя груз эгоизма. Любить — сбрасывать с себя груз эгоизма. Если бы человечество целиком в одно мгновение было бы способно полюбить, в это же мгновение отпали бы все проклятые вопросы, неразрешимые веками. Но это, увы, невозможно. Только редчайшие души способны на вечную любовь. Но и воспоминание о любви бодрит и, главное, озаряет конечную, пока недоступную для обыкновенного человека задачу: сбрасывать с себя груз эгоизма. Самые рачительные несут на себе самый тяжелый дорожный провиант эгоизма.

Живите, как птицы небесные, сказал Учитель. Своя ноша не тянет, раздумчиво ответил человек и пошел дальше.

Сегодня, как в семнадцатом году, нас опять захлестывают безумные надежды и угроемые разочарования. Слишком много ждать опасно, и не-легко установить в нашем взбаламученном обществе баланс взаимных эгоизмов.

Но у человека всегда одна и та же задача — долг в пределах своей ответственности и ответственность в пределах своего долга. И каждый человек лукавит, когда говорит, что границы долга и ответственности ему неясны. Нам давно было пора смириться и сменить свою неряшливую всемирность на честную частичность. Так мы ближе к вечности.

Каждый должен нести свой крест. Спокойно, с передышками, но нести до конца. При этом надо учесть, что кряхтение никак не вознаграждается. Но если от кряхтения легче — кряхти.

Но и тут непросто. Тщеславие человека неуемно. Иной лезет под крест, который ему явно не по плечу. Я забыл предупредить, что тяжесть креста не должна деформировать чувство юмора. Это опасно. Надо вовремя остановиться и высмеять такого человека. Почему? На это я отвечу абхазской притчей.

Корова, увлекшись сочной травой, взшла на слишком отвесную кручу. Осел снизу, заметив это, стал громкими криками бить тревогу.

— Тебе-то что? — сказал пастух.

— Как что, — простодушно ответил осел, — сорвется, мне ее придется тащить.

Интеллигенции не надо стыдиться роли остерегающего голоса этого осла, когда нашу общественную корову травоядный восторг заведет на новую кручу.

Но где пастух?..